

ВАЛЕРИЙ ПОЛОЖЕНЦЕВ

ШОУ-БИЗНЕС

КНИГА ШЕСТАЯ



18+

ЗА КАЖДОЙ ЗВЕЗДОЙ СТОИТ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО НИКТО НЕ ДОЛЖЕН УВИДЕТЬ

Валерий Положенцев
Шоу-бизнес. Книга шестая
Серия «Шоу-бизнес», книга 6

<https://litres.ru/73829546>

SelfPub; 2026

Аннотация

Россия. Середина девяностых. Эпоха принятия решений и причинения вреда. Эпоха, в которой петь, зарабатывать и стрелять учились примерно в одно и то же время и примерно с одинаковой виртуозностью. В которой улыбка уже не означала доверия, деньги уже не означали бедности, молчание уже не было признано. В которой у каждого была своя двойная бухгалтерия, и каждый был уверен, что он — настоящий. Тут ещё много живы. Пока.

Содержание

Пролог	4
Глава 1. Восемь процентов	12
Глава 2. Подпись Валерия Ивановича	21
Глава 3. Продавец страха	34
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Шоу-бизнес. Книга шестая

Пролог

или Краткое пособие по арифметике тех лет, когда считать научились все, а складывать — немногие

Девяносто четвёртый в этой стране начинался хорошо — в том смысле, в каком хорошо начинается любая русская зима: снег выпал вовремя, ёлку в Кремле поставили, президент обратился к гражданам по телевизору, граждане налились, чокнулись за всё хорошее против всего плохого и легли спать с тем чувством, что год у нас, может быть, на этот раз окажется полегче прочих. Граждане ошибались, как ошибаются всегда, когда позволяют себе надежду, — но это выяснится ближе к осени, когда им доходчиво объяснят на примере одного отдельно взятого вторника, что русская надежда — вещь сезонная, как клубника, и хранить её с зимы до осени имеет смысл только в виде варенья.

Тот вторник пришёлся на одиннадцатое октября.

Одиннадцатого октября рубль, — тот самый рубль, который ещё вчера обменивали в кооперативных ларьках на доллары по три тысячи и который, казалось, уже ничем нельзя удивить, — за один день потерял четверть себя. Двадцать шесть процентов, если точнее; но точности в ту эпоху никто не требовал, всё округлялось в сторону ужаса, а ужас в Рос-

сии всегда идёт крупными мазками. Домохозяйки в очередях у обменников плакали — не громко, тихо, с той особой безнадежной интеллигентностью, с какой в этой стране плачут только над книгами, а книг в их жизни к этому году было уже немного; мужики стояли молча, курили «Приму», смотрели на табло и мысленно пересчитывали свои сбережения, — а шла эта арифметика так же быстро, как табло обновляло курс, и результат её выходил всегда не в их пользу.

Этот вторник назовут чёрным. В русском календаре ими, чёрными вторниками, к концу века заполнят всю неделю, кроме воскресенья, — воскресенье оставят Богу, — но в октябре девяносто четвёртого до плотной линейки чёрных дней было ещё далеко; в октябре девяносто четвёртого чёрный вторник был один, первый, и ему удивлялись, как удивляются первой седине, — искренне, неумело, почти с обидой, что именно с тебя.

А за три месяца до того, в июле, умерло МММ.

Умерло тихо, — если можно считать тихим то, как шумит в подъезде шестнадцатизажки толпа в две тысячи человек, пришедшая за своими деньгами и не заставшая денег на месте. МММ в ту весну был чем-то вроде общероссийской религии — новой, ласковой, с обещанием рая уже в этой жизни и без обременительной необходимости любить ближнего; достаточно было любить себя и вкладывать в билеты, на которых изображён был задумчивый гражданин Лёня Голубков, поначалу партнёр, потом халявщик, потом, ка-

жется, сумасшедший, — градации эти страна проходила вместе с ним, и каждая следующая шла ей уже не так, как предыдущая. В июле Лёня оказался в газетах вместо телевизора, задумчивость на его лице сменилась растерянностью, а двадцать миллионов его соратников обнаружили, что чудо, в которое они искренне вложились, было при ближайшем рассмотрении обычной финансовой пирамидой, — то есть сооружением, в котором снизу стоят те, кто платит, а сверху — один, который собирает. Про пирамиды в России до той весны знали только из книг про Древний Египет; к осени знали все, и каждый добавил к этому знанию свой личный вклад в виде потерянной зарплаты, потерянной машины, потерянной квартиры или, в отдельных романтических случаях, потерянной жены, ушедшей к соседу, у которого пирамиды не случилось, потому что соседа жена в пирамиду не пустила.

Вот на таком фоне — с падающим рублём, с обвалившейся пирамидой, с очередями у обменников и с парадоксальным ощущением у всей страны, что именно сейчас, в ближайшие пять минут, надо успеть стать богатым, потому что потом всё это кончится, — и разворачивалось то, о чём пойдёт речь.

В эту эпоху у денег было одно важное свойство: они перестали быть инструментом. Инструмент — это то, чем что-то делают; деньгами же в ту пору никто ничем не делал, деньгами стали быть. Ими одевались, в них жили, их курили, за них убивали, на них женились, с ними разводились, — и тот, у

кого их было много, был не богат, а существовал, а тот, у кого их не было, — не был беден, а просто отсутствовал. Отсутствовавших в стране было большинство, но их, как водится, никто не считал: статистика в ту пору учитывала только тех, кто был, — а кого не было, тот сам виноват, надо было быть активнее.

Активные делились на три породы.

Первая порода носила малиновые пиджаки. Пиджаки эти шили, строго говоря, и не малиновыми, а разноцветными, но в народную память въелся именно малиновый — по той же причине, по какой в народную память въелся Чапаев в папахе, а не Чапаев в фуражке: главное в одежде — не удобство, а узнаваемость, а узнаваемое ближе к героическому эпосу, чем удобное. Под пиджаком полагалась толстая цепь — не та, которой раньше сковывали невольников, а та, которой теперь обозначали вольных, — «Мерседес» шестисотый предпочтительно чёрного цвета с затемнёнными стёклами, жена помоложе и жена постарше в разных квартирах, — с обеими знаком и нотариус, и охранник, но никогда не одновременно, — а на поясе пейджер, пищущий по любому поводу, потому что, когда есть пейджер, поводов становится в три раза больше, чем без него. Перворождённые новые русские этой породы к девяносто пятому частью погибли, частью уехали, частью открыли салоны сотовой связи, — но в октябре девяносто четвёртого стояли ещё крепко, и это их «Мерседесами» был занят весь центр Москвы, от Пушкинской до Смо-

ленской, в четыре ряда.

Вторая порода ходила в чёрных пальто и не ходила в пиджаках никаких. Эти стреляли. Прежних, стрелявших в куртках и спортивных костюмах, к девяносто четвёртому почти не осталось, — не потому что работа стала хуже, а потому что мода поменялась: в чёрном пальто приходили к клиенту так, что тот в последнюю свою секунду успевал восхищаться костюмом, — а это, согласитесь, гуманнее, чем прежняя манера. Заказов стало больше, цены на них выше, и к девяносто пятому один такой заказ стоил в Москве от пяти тысяч долларов за второй эшелон и до сорока за первый, — это если платить чёрным пальто; солидные клиенты платили чёрным пальто не деньгами, а долями в бизнесе, потому что у чёрных пальто была та же логика, что и у первой породы: краткосрочные контракты — для глупых, долгосрочное партнёрство — для умных. А умные, как известно, в этой стране выживают.

Третья порода пела. Этих в ту пору развелось столько, что запоминать их стали уже не по именам, а по номерам, как новые улицы в спальных районах. Одни пели с талантом, другие — без, но пели все одинаково хорошо — в том смысле, что все одинаково хорошо продавались, потому что спрос покрывал всякое качество, как новогодний снег покрывает любую грязь. В девяносто пятом по радио заработала первая российская волна, игравшая только своих и только по-русски, — и, как выяснилось, своих было так много, что хватило

и на волну, и на две, и на три; к концу девяносто пятого русская попса занимала в эфире отечественных станций столько места, сколько лет восемь назад занимала песня «Широка страна моя родная», — а восемь лет назад, напомним, эта песня занимала всё. Новый эфир — своими же словами, только на свой манер — повторил старый, и это была, пожалуй, главная победа перестройки: перестроили до такой степени, что стало как раньше, только с другими фамилиями.

Над тремя этими породами, как известно, стоял четвёртый тип — тот, у которого были кабинеты без табличек и чай в подстаканнике, — но о нём в этом прологе мы молчим, по той простой причине, что о нём всегда молчат, а кто не молчит, тому подсказывают.

В марте девяносто пятого произошло то, что в любой другой стране было бы новостью года, а в этой уложилось в три газетных дня. У подъезда своего дома, возвращаясь с работы, был застрелен один человек, — не бизнесмен, не банкир, не депутат, а ведущий программы на Первом канале, — и в этом убийстве была такая отчётливая, почти лабораторная образцовость, какую редко встретишь в жизни и часто — в учебниках по политэкономии. Убили не за деньги, которые у него, безусловно, были. Убили не из ревности, — хотя ревновать было за что. Убили за то, что он встал поперёк больших потоков, и потоки решили вопрос тем единственным способом, каким вопросы в ту эпоху и решались: быстро, коротко, в подъезде, в девять вечера, на глазах у жены. После той вес-

ны всякий, кто жил в шоу-бизнесе, получил ясный и недвусмысленный сигнал: правила, которые раньше казались правилами игры, оказались правилами войны, и единственное отличие состояло в том, что на войне объявляют, а в этой игре — нет.

А попса продолжала петь. Пела громче, шумнее, ярче, — потому что громко поющему, во-первых, веселее, а во-вторых, его труднее расслышать, — а в те годы многое приходилось не слышать, чтобы выжить.

К весне девяносто шестого страна подошла в странном состоянии — как подходит к первой седой пряди сорокалетняя красавица: вроде бы всё ещё при мне, а всё уже не то. Президент, который эту страну три года подряд спасал от того, от чего она его первая же и просила спасать, сам держался на рейтинге в три процента, — остальные девяносто семь в разных долях принадлежали нескольким соперникам, каждый из которых по-своему обещал вернуть то, что уже невозможно было вернуть. Но президента было решено спасти, — и спасти за счёт тех, у кого к тому моменту были деньги, телевизор и желание сохранить за собой и то, и другое. Сверху на страну посыпались плакаты с одним коротким лозунгом, который рифмовался с «потеряешь», и под этот лозунг, — как в своё время под «Интернационал», — мобилизовался весь тот мир, о котором мы и собираемся рассказать: продюсеры, артисты, журналисты, диджеи, директора концертных залов, хозяева ночных клубов, — все они вдруг оказались частью

одного большого гастрольного тура, смысла которого никто вслух не произносил, потому что смысл был очевиден всем: проигравший теряет не выборы — проигравший теряет свой бизнес, свой эфир, своего зрителя и своё место на той самой сцене, ради которой всё это и затевалось.

Об этом «проигравший теряет» и пойдёт речь.

Об этих двух с половиной годах — от снежной кремлёвской ёлки девяносто четвёртого до весенних плакатов девяносто шестого — и о четырёх людях, которые всё это застали на собственной сцене и которые в эту пору то теряли, то находили, то предавали, то спасали, то друг друга, то самих себя, — причём иногда всё это в один и тот же день, до обеда.

Добро пожаловать в середину девяностых.

Тут ещё многие живы.

Пока.

Глава 1. Восемь процентов

или Как садятся в чужое кресло

В России пустое кресло стоит сутки. Кто сел — того потом только выносят, и то не всегда.

* * *

В шестом часу утра пружина, заменявшая ей будильник последние семь лет, разжалась, как положено, за полчаса до того, как подъезд вспомнит про дверь. Елизавета открыла глаза, полежала на спине, послушала соседский «Маяк» за стеной. Диктор мямлил про погоду, обещал ноль градусов и осадки — осадков в этом городе на ту неделю хватило и без него.

Чайник на кухне у неё был с отбитым носиком. Старая вещь в доме заваривает лучше новой: у старой за плечами уже весь мыслимый опыт разочарования, а новой только предстоит. На клеёнке лежала вчерашняя корочка хлеба, которую она третий день не доедала и не выбрасывала; выбросить не поднималась рука, объяснить этого никому было нельзя, да никто и не спрашивал — в этой квартире третий год никто ни о чём не спрашивал, кроме хозяйки через сберкасса, а хозяйку интересовало только первое число.

За окном стоял двор. Облетевшие тополя, качели без цепей, на лавке старик в пальто кормил голубей из ладони. Голуби у него сегодня были послушные. Союз московского го-

лубя с московским стариком — единственное, что эпохи у нас перестроить не сумели; и то слава богу.

Чай получился слабый, невкусный, горячий. Горячий был важнее вкусного.

Третья ночь без сна закрылась под утро — принятым решением.

Во вторник, ещё до того, как по Белому дому ударили прямой наводкой, Алина встала в этом кабинете, сказала Валере всё, что имела сказать про восемь процентов, и прошла через приёмную, спустилась по лестнице и уехала прямо так, как была — без пальто, без сумки, без телефонного звонка следом. В Рыбинск, к родителям. За два дня оттуда не пришло ни строчки. А двое мужчин остались у окна и долго молчали над коньяком, глядя, как по Садовому ползёт бронетехника; и было в этом их позднем молчании такое, что слышнее любого разговора, — и Елизавета, стоявшая тогда в соседней комнате с папкой под мышкой и выходить не решавшаяся, запомнила это молчание лучше, чем самый шумный скандал в её жизни.

В ночь на четверг решение наконец сложилось. Не на кухне, не на полке с тетрадями, не в голове даже, а где-то в районе солнечного сплетения, где у неё хранилось всё, чего нельзя было доверить ни бумаге, ни собственным рукам.

* * *

Одевалась тщательно. Торопиться было некуда, а одеваться на чужое кресло следовало так, чтобы вошедший в ту ком-

нату с порога понял: кофе приносить больше не попросят.

В шкафу у неё висели пять костюмов. Четыре ходили в приёмную два года подряд и знали о ней всё. Пятый был куплен весной, висел в полиэтилене и терпеливо ждал. Тёмно-синий, шерстяной, с жилеткой, английского кроя, с подкладкой, шелестящей тем особым шелестом, какой бывает только у по-настоящему хорошо скроенных вещей.

Графитовые чулки. Туфли на каблучке в пять сантиметров — ни больше, ни меньше; три — для приёмной, семь — для ресторана, а этот промежуточный, не для первого и не для второго, впервые был сегодня извлечён из коробки.

Помаду выбрала розовую, из тех, что оставляют след на фильтре.

В зеркале над раковиной — с отколотым углом, которое хозяйка обещала сменить позапрошлой весной и не сменила, — отразилась двадцатипятилетняя женщина, которая шла сегодня не в приёмную. Зеркало на этот счёт ничего ей не сказало; наши зеркала давно зареклись подавать голос, и претензий к ним нет.

«Привычка свыше нам дана», — негромко сказала она Пушкину и, застегнув последнюю пуговицу жилета, добавила от себя: «А в остальном, любезный Александр Сергеевич, придётся сегодня справляться без неё».

Связка ключей у неё была одна, на простой медной скобе, среди прочих — и ключ от двери, куда она шла. Лежал между квартирной двойкой и ключом от почтового ящика,

ничем себя не выделяя; а сегодня выделился сам — она знала, какой из этих пяти сейчас окажется главным, и рука её знала тоже.

Сердце под жилеткой стучало неровно. Приказать ему перестать было нельзя. Сделать вид, что не слышишь, — можно.

* * *

На улице стояло третье утро после танков.

Во вторник стреляли, в четверг катилась капуста. У овощного на углу прохудился мешок, и кочаны шли из прорехи под ноги прохожим; прохожие подбирали по одному, по два и несли дальше, не менясь в лице. В городе, где на той неделе лупили из главного калибра, валявшаяся под ногами капуста и беспорядком-то никем уже не считалась — скорее подарком от щедрот; от подарков в Москве принципиально не отказываются, независимо от того, кто и по какому поводу их уронил. История у нас делается быстро — и замечается ещё быстрее.

У метро жгли каштаны. Та же женщина, то же жестяное ведро, что стояло тут в прошлом, позапрошлом и в любом ином году, какие случились на памяти живущих. Жжёная кожа, палая листва, бензиновая сырость воздуха. Меняют флаги, гимны, границы — каштаны жарит всё та же женщина у того же ведра, и в одном этом стоянии у кипящего жира больше устойчивости, чем во всей программе «Время».

Троллейбусом, с пересадкой на Калужской, и дальше зна-

комым своим путём, который за два года она выучила так же подробно, как собственную кухню, — через двор, арку, вторую парадную. Пол на втором этаже скрипел у неё под ногами в трёх знакомых местах: в понедельник устало, в пятницу нетерпеливо, сегодня — никак. У этого пола было собственное настроение, и иногда, в выходные, оно ошибалось вместе с пятницей; в это утро оно молчало, и в его молчании за два года впервые не было ей знакомо ни одной ноты.

* * *

Замок был польский, на два оборота. Ключ вошёл, про-
вернулся один раз сухо, второй — с тем подсыпаящим зву-
ком, каким в ту осень польские замки ежедневно впускали
кого-нибудь по всему Садовому кольцу.

Рука на секунду замерла на ручке двери — не долго,
на полвздоха, ровно настолько, чтобы стало ясно: страшно.
«Молчи, скрывайся и тай», — вспомнила она Тютчева — и
толкнула.

Внутри было холодно не осенним холодом, идущим от ок-
на, а другим — таким, что устанавливается в комнатах после
ухода хозяина, которому суждено больше не вернуться, хотя
сам он об этом ещё не догадывался.

Пахло слабым, остывшим, трёхдневным табаком.

Стол красного дерева был чист до стерильности: лампа зе-
лёного стекла да чёрный «Паркер», положенный строго па-
раллельно краю. Ни пепельницы, ни чашки, ни еженедель-
ника. Пустой директорский стол в утро четверга — диагноз

определённо не из лёгких, и ставить его в этой комнате больше, кроме как самой себе, было некому.

Во дворе на ржавой пожарной лестнице сидел сизый голубь и смотрел внутрь с тем долгим безразличием, с каким московские голуби смотрят во все окна, где, по их сведениям, вот-вот что-нибудь случится. Порода эта не ошибается.

На подлокотнике кресла лежал плед — шерстяной, в шотландскую клетку, сложенный углами внутрь. Так складывают вещи, собираясь вернуться. Во вторник вечером тот, кто его складывал, ещё рассчитывал на среду. Среда прошла, четверг стоял за окном, а плед лежал на подлокотнике в той же позе, в какой его оставили, — не упрекая, но и не обнадеживая.

* * *

Елизавета сняла пальто, повесила на стул для посетителей. Стул этот за два года ни разу её пальто на себе не видел — видел других. Перчатки стянула и убрала в сумочку. Обошла стол слева — слева, а не справа, как обходили этот стол все эти два года все посетители, включая её саму; и в одном этом маленьком изменении маршрута было больше перемен, чем в любых распоряжениях по кадрам за последний год.

Плед с подлокотника сняла, сложила ещё аккуратнее прежнего, переложила на тумбочку у окна — туда, где обычно стояла бутылка «Боржоми». Подлокотник очистился.

У кресла постояла ещё секунду, положив ладонь на кожаную спинку. Кожа холодная — как чугунные перила в подь-

езде в январе, — и рука на этом холоде дрогнула один раз, мелко, незаметно. Заметить было некому, кроме герани на подоконнике; герань промолчала — у гераней в эти годы было столько поводов молчать, что одним поводом больше, одним меньше, они уже не считали. А дрогнувшую руку двадцатипятилетней женщины, которая три дня не ела и три ночи не спала, никаким посторонним свидетельством заверять не надо: такое и без свидетелей заверяется, оптом и с пересчётом.

Села.

Не по-хозяйски, а пробуя: сначала одним краем сиденья, потом глубже, потом откинулась на спинку и опустила руки на подлокотники. Кожа отвечала той вежливой холодностью, какой отвечает мебель новому хозяину в первые десять минут знакомства, — и холодность эта была законной, не личной, через полчаса отходит.

Отходила медленно.

Поднялась, обошла стол с той стороны, с какой подходили просители, и посмотрела на кресло снаружи. Кресло стояло с новой выемкой — уже не старой, но ещё не совсем её. И было в этом полуметровом, туда-обратно, путешествии вокруг чужого стола что-то такое, от чего смотреть на эту девочку со стороны становилось одновременно и жалко, и приятно: жалко, потому что двадцать пять лет, и одна в чужом кабинете, и страшно; приятно — потому что не струсилa. В Москве, где не струсивших в двадцать пять лет встречается один на

сотню, такое, если хотите, почти и воспитание. Вернулась, села снова, и во второй раз кожа приняла чуть глубже.

Третья дёрганая ночь в её груди встала на место.

* * *

Из сумочки достала пачку сигарет и жёлтую пластиковую зажигалку — из тех, что в ларьках в ту осень шли по червонцу; такими зажигалками закуривали в столице все, включая тех, у кого в ящике стола лежала «Зиппо». Щёлкнула. Затянулась глубоко, со вкусом, как затягиваются те женщины, для которых сигарета — скорее жест, чем лекарство.

Дым пошёл тонкой струйкой к потолку и лёг на лепнину, реставрированную прошлой весной за деньги, о происхождении которых в той конторе давно договорились не спрашивать. Лепнина приняла его без возражений.

Во дворе прошёл троллейбус. Внизу кто-то коротко засмеялся и оборвал себя на полувздохе — не смешно, а потому что иначе нельзя.

Пепел падал в пустую пепельницу. До её прихода та пепельница сияла той стеклянной безупречностью, какая у мебели и посуды в подобных кабинетах ничего хорошего обычно не предвещает. Первая крошка пепла легла на матовое донце. У чужой комнаты появилась своя первая частная деталь, а с такой детали в любой конторе начинается всё, что последует за ней потом.

Докурила до фильтра, затушила в два движения — из тех, какими умеют тушить сигареты только те, кто это умеет.

Окурок остался один на всё донце, с тонким розовым следом помады у ободка; и был он среди всего, что стояло и лежало сейчас в кабинете, первой вещью, принадлежавшей ей лично — без благодарностей, без процентов, без оговорок.

Откинулась на спинку. Закрыла глаза на секунду. Сказала негромко, в пустую комнату:

— Ну здравствуй.

В этом «здравствуй» не было торжества. Не было вызова. Было короткое усталое достоинство, с каким в двадцать пять лет берут чужую ношу на плечи, зная заранее: нести долго, нести одной, передавать некому.

Кожа под ней к этой минуте успела согреться.

Больше к полудню того четверга в кабинете не произошло ничего. Троллейбус за окном прошёл ещё один, потом ещё. Крошка пепла осталась на донце пепельницы одна — розовый след помады на фильтре, и больше ничего: но из всего, что стояло и лежало сейчас в комнате, только эта крошка и этот след с уверенностью принадлежали кому-то конкретно.

Этого было достаточно.

Глава 2. Подпись Валерия Ивановича

или Полдня по ту сторону приёмной

Между тем, кто сидит в приёмной, и тем, кто сидит в кабинете, в русских конторах никогда не было тех трёх метров, на которые это расстояние измерено по паркету. Было — жизнь, которая на этих трёх метрах ведётся иначе: другие бумаги, другие звонки, другие ответы, и главное — другие вопросы, на которые вчера ещё отвечали «сейчас уточню», а сегодня, извольте, уточняйте сами.

* * *

К десяти утра на столе Валеры пищали сразу два телефона.

Один — белый Panasonic с определителем. Другой — её прежний селектор из приёмной, который Елизавета утром своей же рукой переключила сюда: в приёмной теперь не было никого, и пищать там было некому, кроме пыли на подоконнике. Пыль трубок не поднимала. Поднимала она.

— Лиза, это Миша со студии. Сегодня пишем Алинину «Весну», сессионщики приехали. Нужны деньги наличными — полторы тысячи долларов. Валерий Иванович в конторе?

— Сегодня нет, Миша. Семьсот пятьдесят к двум с Кирушей, остальное к семи лично. Работайте.

Положила. Второй телефон пискнул, не дав руке отойти.

— Иванов, «Вечерняя Москва». По концерту Лапиной в БКЗ «Октябрьский» в ноябре: у нас делают анонс, хотелось бы уточнить, состоится ли.

— Состоится. Анонс согласуем отдельно. Позвоните в понедельник.

— А Валерий Иванович...

— В понедельник, Иванов.

Положила. Факс засипел — сам по себе, без звонка. Не таможенный на этот раз: из гостиницы «Октябрьская» в Ленинграде — «подтверждение бронирования номеров на 14-15 ноября, просим срочно подтвердить за подписью ответственного лица». Гостиница знала своё дело: катилась и сыпала буквами.

«Шеф, усё пропало», — сказала вполголоса Елизавета, себе под нос, и тут в дверь постучали.

* * *

Борис Семёнович вошёл в начале одиннадцатого — с той пунктуальностью, с какой старые конторские заходят к новому начальству: не рано и не поздно, ровно в ту минуту, когда начальству уже стало понятно, что дело не в том, чтобы сесть, а в том, чтобы не утонуть, сидя.

«Беломор» в пальцах, пенсне на носу, папка подмышкой.

— Елизавета Владимировна, у меня вопросы. Срочные.

— Садитесь.

Он сел — не на стул для посетителей, а на тот, на кото-

ром у Валеры сидели партнёры. Открыл папку, выложил три бумаги.

— Гонорар Виталию за сентябрьский Нижний, две тысячи долларов. Аренда за октябрь по Якиманскому четырнадцать, одиннадцать тысяч. Типография «Красный пролетарий», афиши в Питер, четырнадцать тысяч рублей, срок завтра. Внизу у всех трёх: «Руководитель предприятия. Положенцев В. И.» А Валерий Иванович сегодня не вышел. В одиннадцать тридцать курьер в Сбербанк.

— Борис Семёнович, как мы раньше делали, когда Валерий Иванович уезжал?

— Перед отъездом он сам подписывал чистые бланки — штук двадцать. Я к ним подкладывал текст. Называлось «заранее побеспокоился».

— А сейчас?

— Подписанных бланков ровно ноль. С утра проверил.

— Понятно.

За окном на Якиманке прогрохотал БТР. Факс за спиной Бориса Семёновича дожёвывал своё питерское.

— Борис Семёнович. Вы, я думаю, до сегодня этого не знали: Валерий Иванович не оглашал. С апреля у меня в этой компании восемь процентов. Оформлено бумагой за подписями Валеры и Сергея. Один экземпляр у меня, второй у Валерия Ивановича в сейфе на Фрунзенской. В устав пока не внесено.

Борис Семёнович слушал, и в глазах у него пересчитыва-

лась задним числом годовая отчётность.

— Сходится, — сказал он тише обычного.

— Что сходится?

— У меня по апрелю был один плюсик, которого я до сегодняшнего утра не понимал. — Снял пенсне, протёр, надел. — Поздравляю. Запоздало.

Сорок три года в советских конторах учат главному: никогда не удивляться вслух. Удивление в этих стенах — роскошь, равная по цене увольнению. Если женщина, которую ты за два года научился читать по походке, вдруг оказывается совладельцем предприятия, а ты об этом узнаёшь только сейчас — значит, ты не тот бухгалтер, за которого себя принимал. А если ты не тот бухгалтер, то всё остальное, что у тебя на совести за эти два года, тоже, возможно, не то. Борис Семёнович эту мысль додумал в ту же минуту, но виду не подал — и этим сохранил и себя, и её.

— Спасибо.

— А Валерий Иванович — сколько ещё собирается творчески отдыхать?

— Не знаю. Версию про отпуск держим для всех — для банка, для журналистов, для Мальцева. Внутри — между нами, Михаилом и мной — пауза, на неё веду я.

— Разумно.

Помолчал.

— По платёжкам нужна бумага. Иначе курьер едет пустой.

— Позову Михаила.

Нажала кнопку селектора. Тот же селектор пискнул в ответ — вахта с первого.

— Елизавета Владимировна, к вам из типографии. Товарищ Морозов. По срочному.

— Пусть поднимается.

* * *

Морозов — невысокий, в сером пальто поверх пиджака, с картонной папкой, перевязанной тесёмкой, — вошёл без стука, ставя ногу так, как ставят её люди, привыкшие являться в чужие кабинеты без предупреждения.

— Морозов, «Красный пролетарий». А Валерий Иванович где?

— В отпуске. Садитесь.

— В отпуске, — повторил Морозов так, как повторяют цифру не в свою пользу. Развязал тесёмку, выложил пачку печатных листов. — У нас беда. Тираж афиш к ноябрьскому Питеру готов к выходу, пять тысяч. В макете на второй строчке опечатка.

Он пододвинул первый лист. Крупно: «АЛИНА ЛАПИНА», ниже — «Большой концертный зал», дата, адрес. Между ними, на второй строчке: **«БКЗ АКТЯБРЬСКИЙ»**.

— «Актябрьский», — прочла Елизавета.

— «Актябрьский», Елизавета Владимировна. Буква «о» встала «а». Макет правили в последний момент, корректор проморгал. Отпечатано, досушено, лежит на складе. Если это уедет в Питер — нас Фельдман с бельём съест, да и зал

свой я подведу. Решение одно: отзывать и перепечатывать. За наш счёт, ошибка наша. Но мне нужна ваша печать на служебной записке — иначе я пять тысяч листов на брак у себя не спишу.

— Срок?

— Трое суток, если печать сегодня.

Елизавета взяла ручку Валеры — чёрную, лежавшую параллельно краю стола, — достала из ящика листок и написала своим мелким ровным почерком: тираж отзывается, перепечатывается за счёт типографии, срок до семнадцатого октября. Подписала двумя буквами: **«Е. В.»** Печать — круглая, гербовая, «Серебряный диск, г. Москва» по окружности — стояла в правом углу под стеклом. Елизавета вынула её аккуратно, как вынимают из рамки чужой паспорт, прижала к подушечке, оттиснула.

За два года эта печать пять тысяч раз ложилась в её руку, но всегда — после чужой подписи. Сегодня — после своей.

Первый оттиск в жизни. Не тот, что ставят на поздравительной открытке коллеге на день рождения. Не тот, что ставят на справке для паспортного стола. Настоящий, взрослый, с последствиями, — такой, за который через полгода могут прийти, а могут и не прийти, но бумага в архиве типографии будет лежать с её двумя буквами, пока типографию не закроют на ремонт или на вечность, смотря что в этой стране случится раньше.

— До семнадцатого, — Морозов спрятал листок. — Ва-

лерию Ивановичу, если что, привет.

— Передам.

* * *

Морозов ушёл, а Елизавета пошла вниз, в триста двенадцатую.

Комната занимала первый этаж во флигеле, за поворотом коридора. Обои цвета варёной сгущёнки, батарея — только левая стена, плакат «Кино» с отклеившимся верхним углом, электрический самовар на тумбочке, купленный год назад на общие деньги и за год не успевший ещё обзавестись ни вмятиной, ни сколом, как обзаводится всякая рабочая мебель, если ей повезёт прожить в русском офисе хотя бы двенадцать месяцев. В комнате сидели шестеро: Лёня с мундштуком в чёрной водолазке, откинувшись, забросив ногу на ногу; Катя в мужском пиджаке поверх тельняшки, блокнот открыт; Гриша у окна со своим альбомом, Толик со своей тельняшкой в углу, Игорь в очках с заклеенной дужкой над списками, Миша со студии — только что заехал. Все встали, когда она вошла, — привычно, как вставали всегда, когда в дверь входил Валера.

— Садитесь.

Сели.

— Лёня, что с клипом на «Весну»?

Лёня выпустил дым.

— Третью неделю доделываем сценарий. По технической части были вопросы к Валерию Ивановичу. Он обещал в по-

недельник. Если Валерий Иванович в отпуске — к кому с вопросами?

— Ко мне, Лёня.

Катя подняла глаза.

— Правда, со всеми?

— Со всеми.

Секунда молчания. Лёня и Катя переглянулись — коротко, одним общим взглядом, каким обмениваются напарники, когда пейзаж окна поменялся. Гриша поднял глаза и тут же опустил. Толик повернул голову к Мише, Миша — к Игорю, Игорь записал что-то в блокнот.

— Вопросы давайте.

Лёня раскрыл папку, Катя — блокнот. Аренда павильона на «Мосфильме» на два дня, оператор свой или их, костюмер один или двое ассистентов, бюджет на свет, снимать ли кошку в белом прожекторе или без кошки. Елизавета слушала, по трём ответила сразу, по четвёртому — «уточню с бухгалтерией», по пятому — «к пятнице».

На выходе Миша догнал в коридоре.

— Лиза, Кирюша с семьястами пятьюдесятью к двум?

— К двум. Студия работает.

В триста двенадцатой, пока она поднималась по лестнице, происходило то, что в русских конторах происходит всякий раз, когда старая власть из кабинета тихо съехала, а новая ещё не прогремела вслух: люди коротко выдыхали и переглядывались. Тот коллектив, которому за два года объявили

три разных генеральных линии и ни одну до конца не объяснили, умеет угадывать будущее по мелочам — по выбору стула, по тону «со всеми», по тому, как новая начальница слушает пятый по счёту вопрос. В этих мелочах помещается больше информации, чем во всех приказах, которые потом пишутся на стене. Если бы Елизавета сейчас обернулась, она бы увидела, что Катя закрыла блокнот и посмотрела на Лёню с тем особым спокойствием, с каким в таких комнатах встречают перемену погоды. Но Елизавета не обернулась.

* * *

Поднявшись, Елизавета застала Михаила — юрист сидел на стуле для посетителей с папкой, по обыкновению прижатой к груди.

— Михаил. Я хочу подписывать от лица компании. Своей рукой. Как по уму, чтобы банк и налоговая приняли без вопросов?

— По уму — доверенность от Валерия Ивановича на вас. Генеральная, с правом подписи по всем операциям. Бумажка на три четверти страницы, напишу за сорок минут. Заверение у нотариуса — куда Валерия Ивановича привезти можно.

— Хорошо.

— Но, Елизавета Владимировна, — и Михаил произнёс это тем голосом, каким говорят неприятное, — у нас устав. В уставе ряд решений требует двух подписей совладельцев. Крупные договоры, серьёзные обязательства — и Валерий

Иванович, и Сергей Михайлович. Ваши восемь процентов решающего голоса пока не дают, пока в устав не внесены.

— Кроме подписи Валеры — и подпись Сергея?

— На серьёзное — да. На текучку — только Валерия.

— А типография, что пять минут назад уехала с моей печатью?

— Типография с такой запиской в суд не побежит, ошибка их. Но если завтра приедет кто-то посерьёзнее — печати будет мало.

Правый телефон пискнул. Panasonic. Номер семизначный, ленинградский. Снимая, она уже знала, кто.

— Слушаю, Семён Аркадьевич.

— Лизавета Владимировна, Фельдман. По ноябрьскому.

— Слушаю.

— Не буду тянуть. До меня в Петербурге доходят слухи, и слухи мне не нравятся. Говорят, что у вас в конторе что-то не так: Валерий Иванович не отвечает, Сергея Михайловича не видели, Алина Евгеньевна уехала к родителям — не в командировку, именно к родителям, без сумки. Я понимаю, внутреннее дело. Но у меня в Питере полторы тысячи зрителей, и их не интересует, кто в какой отпуск ушёл. Их интересует, выйдет ли Алина Евгеньевна на сцену.

Слышно было, как палец его стучит по карельской берёзе — та-та-та-там, та-та-та-там, бетховенская тема судьбы.

— Давайте так. К понедельнику, к двум пополудни, у меня в Петербурге лежат три вещи. Первое: подтверждение с пе-

чать, что концерт состоится в полном объёме. Второе: программа с визой Алины, — я должен видеть, что она в курсе, согласна и будет у меня петь. Третье: платёж за рекламу в ленинградской прессе — четыре тысячи долларов, об этом мы с Валерием Ивановичем договаривались в августе на словах. Или во вторник к полудню снимаю Лапину и ставлю Ротару.

— Понедельник до двух. Всё будет.

— Верю. И Алине Евгеньевне поклон. У неё голос.

Щелчок. Гудки.

Семьдесят два года советской культуры слышат за семьсот километров лучше любого факса. Фельдман в Петербурге за неделю узнал то, чего в Москве пока не знали три четверти знакомых «Серебряного диска», — узнал не из газет, потому что газеты в эти дни писали про БТРы и про парламент, а узнал тем особым ушным способом, каким советские директора всегда узнают о таких вещах: по тишине в трубке, по паузам между телефонными звонками, по тому, кто перестал звонить. Слух в Москве распространяется быстрее тифа, но в Петербурге быстрее.

Елизавета положила трубку. Миша в голове досказал «студия работает», Морозов уехал с её печатью, Борис Семёнович в бухгалтерии ждал бумаги, Лёня с Катей в триста двенадцатой — ответа по бюджету, а Семён Аркадьевич в Питере ждал трёх вещей к понедельнику и четвёртой, которую он не назвал вслух: чтобы Алина к понедельнику уже не была уехавшей.

Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. В выходные банки и нотариусы не работают, а если работают — не с её делами.

— Михаил. Садитесь за доверенность. К вечеру положите на стол.

— К семи положу.

Вышел.

* * *

После обеда, которого не было, шли звонки: типография подтвердила приём к исполнению; Миша со студии — Кирюша доехал, сессионщики работают; гостиница «Октябрьская» — повторно, теперь устно; Борис Семёнович — по Виталию и аренде; охрана — приехал к подъезду неизвестный микроавтобус, зашёл кто-то, спросил Елизавету, не стал ждать, ушёл. Микроавтобус остался.

К пяти за окном темнело. Октябрьские сумерки в Москве приходят рано — в половине пятого уже не день, и ларёк напротив ворот «Серебряного диска» загорался красной лампочкой «Табак. Пиво».

В приёмной — пусто. В бухгалтерии у Бориса Семёновича — «Беломор» дымится. В триста двенадцатой — работают. У Михаила в конце коридора — свет сквозь щель.

Елизавета подошла к окну. На Якиманке тот самый БТР, что ползал с утра, к вечеру замер на углу — огромный серый жук, которого кто-то вывел и забыл увести обратно. Вернулась к столу. Закурила.

Первый её день в этом кресле заканчивался тем, чем в русских конторах заканчиваются все первые дни новой власти: тишиной, в которой слышно собственное сердце, пепельницей с чужим ободком и новым привкусом помады, остывшей чашкой чужого кофе и тем сложным ощущением усталости, какое бывает у человека, выигравшего шахматную партию у себя самого: вроде победил, а радоваться нечего, потому что проигравший тоже ты. За окном стоял БТР, в коридоре горела одна лампа, в триста двенадцатой смеялись — негромко, как смеются в пустых вечерних офисах, когда работа сделана, а идти домой ещё рано.

В пепельнице лежали её окурки с тем тонким розовым следом помады у ободка, которого на этой пепельнице вчера не было, а сегодня был.

Больше ничего в этот четверг в кабинете на Якиманке не произошло.

И это «ничего» стоило ей дороже всех разговоров, звонков, факсов и подписей, какие в этот день через неё прошли.

Глава 3. Продавец страха

или Как заставить труса работать

Страх в этой стране всегда был ходовой валютой, да только мелкого номинала: им платили за такие мелочи, что курс его к девяносто третьему ни в один банк уже не котировался — то ли копейка за взгляд, то ли жизнь за одну неверно сказанную фразу. А вот продавцов, умевших продавать этот товар тихо, без крика и без битья посуды, — набиралось по всей Москве, дай бог, на собрание в малом зале заводского ДК. Елизавета Владимировна в это собрание до утра пятницы не входила.

* * *

В половине девятого она сидела у телефона в прихожей, с сигаретой в пальцах, с чёрным «Ежедневником 1993» на колене, и набирала домашний Андрея. Трубку он взял после четвёртого гудка.

— А-алё?

— Андрей, доброе утро. Надо тебя видеть. Сегодня. На складе. К одиннадцати.

Пауза, по которой в русских телефонных разговорах безошибочно определяется, что на том конце провода происходит не жизнь, а лихорадочная работа над формулировкой.

— Елиз-завета Владимировна, я п-приболел. Т-температура тридцать восемь и две.

Заикание. Когда Андрей говорил правду, слова у него выходили, как у любого взрослого человека, по одному и в нужном порядке. Когда врал — первая буква имени или существительного спотыкалась, как трамвай об обломок рельса. Эту особенность Елизавета заметила ещё весной прошлого года и вслух о ней с ним никогда не заговаривала: чужая беда, которую замечаешь, но из приличия не предъявляешь, в русских конторах всегда была лучшей аналитикой, какая на этой земле бывает.

— Температура к одиннадцати спадёт. Склад. Я приеду. Жду.

Положила трубку, не давая ему добавить ни слова.

Вог у неё кончился ещё в четверг, а в сумочке с вечера лежала случайная пачка «Явы», кем-то оставленная в кабинете накануне и прихваченная ею, не глядя, вместе со всем остальным.

* * *

На склад приехала в десять — на час раньше срока, чтобы войти в подвал до Андрея, оглядеться, и первыми увидеть Петровича с Василием, пока их не увидел начальник отдела продаж.

Такси отпустила у железных ворот, спустилась по бетонным ступенькам к железной двери — дверь была отперта. Внутри в подвале горели две лампочки из пяти: остальные три перегорели в разное время, менять их было лень, а лень в этих подвалах ценится наравне с опытом.

У дальнего стеллажа стоял Петрович в ватнике, у ближнего — Василий с двумя коробками в руках. Разогнулись они одновременно, как разгибаются в таких местах на неожиданный женский каблучок, раздающийся в неурочный час на бетонной лестнице.

— Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Петрович.

— Здравствуйте, Елизавета Владимировна, — кивнул Петрович. — Редкий гость.

— Сегодня не редкий.

У них с Василием была своя глухонемая азбука, выработанная годами. Сейчас ни палец к виску не поднялся, ни ладонь к горлу; правое ухо Петровича повернулось к ней на четверть: слушаю.

— Как по отгрузкам, Петрович?

— Плохо. Третий день плохо.

— Американская?

— Двести коробок. Стоят. Ждут закорючки.

— А остальные?

— Краснодар — восемь тысяч дисков, Казань — двенадцать, Нижний — девять. Весь пакет: Лапина, «Ласковый май», «Мираж», «Комбинация». Всё готово, всё на бирках, всё к воротам подтянуто. Без закорючки Андрея Николаича ни одна машина никуда не двинется. Инструкция его же — три года назад повесил бумажку на стене. Висит — а краснодарская машина со вторника во дворе стоит.

— С утра во вторник?

— Со вторника, Елизавета Владимировна. Сегодня пятница. Краснодарский шофёр, Коля-молдаванин, спит в кабине четвёртую ночь. Бутерброды ему из дому носим, спасибо жёнам. Зол, но молчит. Наши шофёры редко говорят, зато помнят долго.

Василий молча подошёл к синему эмалированному чайнику на тумбочке, налил ей в кружку чай с сушёным шиповником — жена утром в термос заварила.

— Спасибо, Василий.

«Ява» у неё к этой минуте в сумочке тоже кончилась. Василий, не дожидаясь просьбы, протянул свою — обычную московскую, в синей обёртке.

— У нас попроще, Елизавета Владимировна. Не Вог.

— Сегодня попроще и подойдёт.

Закурили. Василий поставил ей фанерный ящик с печатью «Апрелевский завод грампластинок», на ящик она села. Петрович остался стоять, опираясь рукой на ребро полки: сидячее положение с чем-то у него в биографии ассоциировалось нехорошо, на ящики он без нужды не садился.

— Петрович, Василий. Расскажите по-честному, что у вас тут. Потому что Валерий Иванович в отпуске, а контору веду я со вчерашнего утра.

Сказала ровно, без нажима. Петрович с Василием переглянулись — коротко и раз, — и в этом взгляде помещалась вся оценка, какую грузчики с Горбушки дают новому начальству: не по должности, не по бумагам, а по голосу, по поход-

ке, по тому, как человек держит кружку и прикуривает от их зажигалки. Оценка прошла в её пользу.

— Товар есть. Машины готовы. Шофёры терпят. Склад работает. Не работает только закорючка. А без неё мы с Василием тут, простите, как в анекдоте про публичный дом без женщин: вывеска есть, а делать внутри нечего.

— Сегодня делать будет чего. Андрей Николаич будет к половине двенадцатого. Подпишет. Американская — к воротам. Коле-молдаванину передайте: мотор пусть прогревает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.